

УДК 82:1

DOI: 10.17223/19986645/51/12

О.А. Коваль, Е.Б. Крюкова

ОБРАЗ ЯЗЫКА ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА И ЯЗЫК ОБРАЗОВ ИНГЕБОРГ БАХМАН

Художественное наследие Ингеборг Бахман рассматривается в контексте того влияния, которое оказала на ее становление ранняя философская теория Людвига Витгенштейна. Придавая значение языку как оптике миропонимания, Бахман отводит литературе место экзистенциальной практики, в которой истина о мире обретается не ценой необходимости держаться в рамках логики, что предписывается «Логико-философским трактатом» Л. Витгенштейна, а личной свободой словотворчества.

Ключевые слова: И. Бахман, Л. Витгенштейн, литература, философия, язык, мир.

В ложину моей немоты легло слово...

И. Бахман

Философию по-настоящему
можно было бы писать разве что стихами.

Л. Витгенштейн

Редко какой очерк о жизни и творчестве Ингеборг Бахман обходится без упоминания имени ее знаменитого соотечественника, философа Людвига Витгенштейна. Иногда одним упоминанием дело и ограничивается, а иногда тема эта развивается несколько больше, намекая ввиду подобного сопоставления на взаимодополнительность или, по крайней мере, неизбежность пересечения путей изящной словесности и отвлеченного мышления в XX в. Влияние Витгенштейна, которое признавала и сама Бахман, в его художественном преломлении представляется случаем довольно необычным и заслуживает серьезного внимания не только литературоведов, но и философов¹. С одной стороны, воздействие идей Витгенштейна на формирование особого интереса к языку у Бахман является несомненным, с другой — оно не столь однозначно, как кажется. Переосмысляя собственное словесное «ремесло», писательница не просто перенимает философскую логику Витгенштейна: она предлагает некоторую альтернативу его пониманию соотношения языка и действительности, коль скоро такое понимание, хотя и удовлетворяет строгим критериям научно-

¹ Из отечественных исследователей присутствие витгенштейновских идей в литературном наследии Бахман отмечали Д.В. Затонский и Е.В. Соколова, см., в частности, [1. С. 349–351; 2]. В зарубежной критике этот вопрос освещался шире. В качестве наиболее значимых работ здесь стоит упомянуть следующие: [3–6].

сти, не оставляет фундаментальным человеческим ценностям шанса получить адекватное языковое воплощение.

1

Даже в биографии писательницы можно обнаружить некоторые параллели с судьбой Витгенштейна. Для Ингеборг Бахман, молодого и, без сомнения, одаренного поэта, только что выпустившего два первых сборника и на удивление быстро получившего признание и критиков, и широкой читательской аудитории, отказ продолжать писать стихи² кажется странным поступком, едва ли не экстравагантным – под стать поступкам самого Витгенштейна. Слава и популярность этого мыслителя – как при его жизни, так и сегодня – не в последнюю очередь вызвана необычным поведением философа. Достаточно назвать его решительный отказ от многомиллионного наследства, или выбор, сделанный в пользу уединенного существования в качестве сельского учителя взамен блестящей академической карьеры в Кембридже, или уничтожение всех подготовительных материалов, предшествовавших появлению «Логико-философского трактата», и желание облегчить понимание своего главного труда даже для таких заинтересованных лиц, какими были члены Венского кружка – стихийно возникшего философского сообщества, которое объединило представителей самых разных научных специальностей.

Однако, как и в случае с Витгенштейном, дистанцирование Бахман от поэзии не было провокационным жестом или вынужденной мерой: это решение она приняла обдуманно и с полной ответственностью. Очарованность теми возможностями, которые таит в себе поэтическое слово, довольно скоро уступает место осознанию собственного бессилия в попытках изменить мир. Такого рода недостаточность средств лирического языка для выражения животрепещущих вопросов человеческой жизни перекликается и с горестным признанием Витгенштейна, который почти за полвека до этого, полагая, что сделал что-то значительное, заявляет в предисловии к «Логико-философскому трактату» (1921): «...истинность высказанных здесь мыслей представляется мне неоспоримой и завершенной. Таким образом, я считаю, что поставленные проблемы в своих существенных чертах решены окончательно. И если я не заблуждаюсь на сей счет, то вторая ценная сторона этой работы в том, что она показывает, сколь мало дает решение этих проблем» [7. С. 4].

Оставив поэзию, Бахман тем не менее не порывает с литературой. Она обращается к прозе, жанру, казалось бы, более приземленному, многоглаголивому, избыточному. Однако только таким образом – вопреки преобладающей в интеллектуальных кругах тенденции воспринимать ее не иначе

² Первая книга лирики Бахман «Отсроченное время» вышла в 1953 г., вторая – «Призыв к Большой Медведице» – увидела свет в 1956 г. С тех пор Бахман крайне редко обращалась к поэзии, отдавая предпочтение поэтическим переводам.

как поэта – ей удается найти общий язык с миром, обрести утраченную веру в его выразимость. В многочисленных рассказах Бахман, подкупающих своей личной интонацией, в загадочном романе «Малина» (1971)³, предупреждающем появление нового, постмодернистского типа текста, в повести «Три дороги к озеру» (1972), подводящей своеобразный итог прожитой жизни, находят отражение упования Бахман на действенность художественной речи. Не случайно одна из ее героинь, тоже писательница, хочет принести в дар своему возлюбленному идеальную книгу, которую ей еще предстоит сочинить: «В голове у меня слова вскипают, потом начинают светиться, некоторые слоги уже зажглись, а из всех коробочек-предложений вылетают пестрые запятые; точки, прежде бывшие черными, надутые, как воздушные шарики, взлетают к моей черепной крышке, потому что в той книге, которая так замечательна и которую я начинаю искать, все будет подобно “Exsultate Jubilate” [Ликуйте, возглашайте]. Если бы такая книга существовала, а в один прекрасный день она должна появиться, то люди, прочитав одну-единственную страницу, от восторга бросались бы на пол, подпрыгивали до потолка, эта книга помогала бы человеку, он читал бы ее дальше и впивался бы зубами себе в руку, чтобы не закричать от радости, выдержать было бы просто невозможно, а продолжая читать, сидя на подоконнике, он стал бы осыпать прохожих на улице конфетти, чтобы они в изумлении останавливались, будто попали на карнавал; он кидал бы вниз яблоки и орехи, финики и фиги, как в день Святого Николая, он высунулся бы из окна, не боясь головокружения, и кричал: “Послушайте, вы только послушайте! Посмотрите, вы только посмотрите! Я прочел нечто чудесное, можно, я почитаю вам тоже, подойдите поближе, все-все, это бесподобно!”» [10. С. 61–62].

Такая, безусловно, идеализированная картина, в которой мир спасает книга, является художественным воплощением важной для Бахман идеи о литературе как утопии. Выбор романного пространства, заведомо фиктивного, которое в отличие от поэзии и философии не претендует возвестить истину о мире, как ни странно, оказывается для Ингеборг Бахман спасительным. Утратив под ногами почву, которой для нее была поэзия – как онтологическая основа, как форма праязыка, в своем последовательном свершении вынуждающая к немоте («О чем невозможно говорить, о том

³ Первый, законченный и опубликованный роман из задуманного Бахман, но так и оставшегося неосуществленным цикла «Виды смерти». Помимо «Малины», сохранились наброски еще к двум романам – «Случай Францы» и «Реквием по Фанни Гольдман» (рус. пер.: [8]), а также сведения о замысле четвертой книги того же цикла, главной героиней которой является политическая журналистка Эка Котвитц, вынужденная после подстроенного падения из окна жить в инвалидном кресле. Название «Виды смерти» («Todesarten») восходит к фразе Ницше «Wenn Götter sterben, sterben sie immer viele Arten Todes» («Когда боги умирают, умирают они всегда разными смертями» – перевод Ю.М. Антоновского, цит. по изд.: [9. С. 188]); каждый роман цикла был призван показать один из способов «убийства» женщины современным обществом.

следует молчать»⁴ [7. С. 73]), – она мало-помалу начинает заново осваивать территорию слов в прозаической речи.

Подобный переход от поэзии к прозе зеркально повторяет то предпочтение, которое поздний Витгенштейн, подвергнув серьезной критике собственную раннюю концепцию языка, оказывает вербальной практике. Лаконичные, безупречно выверенные формулировки Трактата сменяются у него озадачивающими, полувопросительными-полуутвердительными фразами, расплывчатыми, неоднозначными, полными бесчисленных оговорок пассажами «Философских исследований» (1953), которые, по замыслу автора, призваны уже не привести к объективной научной истине, а осуществить терапию, т.е. доставить облегчение тому, кто болен философским вопрошанием. Ранняя теория Витгенштейна позволяла ему установить пределы мира, совпадавшие с пределами языка. Но это не принесло желаемого облегчения молодому философу, а наоборот, повергло его в отчаяние, поскольку все самое важное: вопросы о жизни и смерти, добре и зле, смысле человеческого существования, Боге – осталось за этими границами. Бахман же сумела внутри самого мира, внутри самого языка обнаружить место, вернее, не-место, утопию, вымышленную terra incognita литературы, чье иллюзорное пространство бесконечно, а потому способно – в отличие от науки – дать слово всему, даже невыразимому. Конечно, мир в «Логико-философском трактате» – это тоже не имеющий начала и конца пространственно-временной континуум, в котором настоящее, прошлое и будущее присутствуют в качестве логических возможностей. Однако этот мир есть «совокупность фактов» (1.1)⁵. И стало быть, литература – лишь один из них. То, о чем говорит литература, не будучи тавтологией и не подпадая под процедуру верификации, оказывается бессмысленным⁶.

Но для Бахман это вовсе не приговор литературе. Освобожденная от необходимости соотноситься с реальностью, литература становится экспериментальной площадкой, где уравниваются в правах существующее и несуществующее, истинное и неистинное, правдивое и вымышленное. Даже само их столкновение способно расширить привычный горизонт видения, вызывая к жизни нечто, чего прежде не было. «...Внутри границ, – пишет Бахман, – мы направляем взгляд на совершенное, на невозможное,

⁴ Последний, заключительный афоризм витгенштейновского сочинения, который Бахман часто цитировала.

⁵ Здесь и далее при цитировании «Логико-философского трактата» цифры в скобках отсылают к соответствующему афоризму согласно сквозной нумерации, которая была введена самим Витгенштейном. Выдержки приводятся по указанному изданию.

⁶ Предложения языка, согласно Витгенштейну, могут быть истинными или ложными – в зависимости от того, соответствуют ли они фактам в мире, что и устанавливается в ходе верификации. Знание всех истинных предложений с необходимостью влечет за собой полное знание мира. Но помимо истинных и ложных предложений, язык включает в себя еще одну категорию высказываний, не описывающих факты: это тавтология (чьим зеркальным отрицательным эквивалентом выступает парадокс). Все другие предложения признаются Витгенштейном бессмысленными. Таковы в первую очередь положения метафизики, нарушающие логический строй языка.

на недостижимое, будь то любовь, свобода или любая другая чистая величина. В противостоянии невозможного с возможным мы расширяем наши возможности» [11. S. 276]. (Придерживаясь максим «Логико-философского трактата», правильно было бы сказать, что литература открывает не новые возможности, а всего лишь прежде неизвестные.) Не исключено, что эта «изобретательность» литературы есть своего рода компенсация ее исходной недостаточности, того дефицита смысла, который делает ее столь уязвимой в строгой вселенной логических высказываний. Отсюда и ее направленность в будущее, утопичность, которая в глазах Бахман является силой, а не слабостью. «Литература, хотя она всегда – и даже потому, что она всегда, – представляет собой сборище прошедших и уже имеющих вещей, всякий раз есть то, на что надеются, то, чего жаждут, что, имея в резерве, мы оформляем по собственному желанию, – тем самым литература выступает открытым будущему царством с неизвестными границами. Наши желания делают так, что все, уже образованное из языка, одновременно участвует в том, что еще не высказано, и наше воодушевление определенными великими текстами является, собственно, воодушевлением перед чистым, неисписанным листом, на который, по-видимому, будет нанесено то, что еще только предстоит достичь. В каждом великом произведении, будь то “Дон Кихот” или “Божественная комедия”, что-то для нас отцвело, выветрилось; имеется некоторый недостаток, который мы сами устраняем благодаря тому, что даем сегодня этому произведению шанс, читаем его и хотим читать завтра, – недостаток, который столь огромен, что вынуждает нас обращаться с литературой как с утопией» [12. S. 258–259].

2

Далеко не каждый писатель пытается теоретически осмыслить то, что делает. Помимо того, что подобного от него никто не требует, это не так-то и просто. Бахман же метафизические абстракции и спекулятивные построения не пугают: у нее за плечами опыт профессионального философствования. Знакомство писательницы с самыми актуальными тенденциями современной философии не было поверхностным⁷. Интерес к языку, который она пронесла через всю жизнь, возник у Бахман еще в студенческие годы и был инициирован двумя наиболее значительными фигурами западной мысли XX в. – Мартином Хайдеггером и Людвигом Витгенштейном. Посвященная Хайдеггеру диссертация («Критическая рецепция экзистенциальной философии Мартина Хайдеггера», 1949), которой завершилось

⁷ В одном из наиболее серьезных трудов о творчестве Бахман проводится мысль, что ее представления об искусстве во многом были сформированы историко-культурологическими прозрениями Вальтера Беньямина и идеями франкфуртской школы: [13]. Кроме того, в этой книге Зигрид Вайгель на обширном документальном материале демонстрирует, насколько осмысление Бахман феномена литературы оказалось созвучным герменевтике Петера Сонди и структуралистскому подходу Ролана Барта.

университетское обучение Бахман, была написана в полемическом тоне, вполне характерном для Венского кружка. Признавая оригинальность хайдеггеровского подхода и радикальность его вопрошания, Ингеборг Бахман тем не менее никогда не обольщалась на его счет – в отличие от многих ее современников. В письме Паулю Целану, который поначалу был заморожен хайдеггеровской онтологией языка, предельно созвучной его собственному пониманию поэзии⁸, она довольно трезво оценивает масштаб личности философа: «Я много лет назад написала диссертацию о Хайдеггере, и хотя я не придаю особого значения этому обязательному упражнению на прилежание, все же своего отношения к Хайдеггеру я никогда не меняла, его политическая ошибка для меня остается вне дискуссий, и я по-прежнему вижу трещину, сделавшую такую ошибку возможной, в его мышлении, в его произведениях, и вместе с тем мне известно, потому что я действительно хорошо знаю его работы, каково значение и каков уровень этого философского труда, по отношению к которому я всегда буду занимать критическую позицию. К сказанному можно добавить еще и то, что я с удовольствием написала бы вводную статью, если бы, наконец, стали готовить немецкое издание Витгенштейна, – если я этой статьи не напишу, то так тому и быть, ибо я опасаясь, что моих способностей на это не хватит, но я действительно испытываю в этом потребность» (письмо Бахман Целану от 05.08.1959) [15. С. 122–123].

Скептическая оценка Хайдеггера не в последнюю очередь объясняется тем, что Бахман представлялось невозможным разделять мысль и жизнь, разводя по разные стороны то, что ты думаешь, и то, что ты делаешь. Как раз этим ее и привлекала фигура Витгенштейна, который казался воплощением идеала непротиворечивости. (Свою позднюю теорию он даже выстраивал на основании идеи, провозглашающей взаимодополнительность и неразрывность слова, мысли и действия.) И хотя немецкое издание витгенштейневского наследия вышло без предисловия Бахман, еще раньше, в начале 1950-х гг., она написала два эссе, посвященных его философии: одно носит специализированный характер и рассчитано скорее на узкую аудиторию, а другое адресовано более широкой публике (оно было предназначено для трансляции по радио, где тогда работала Бахман)⁹.

⁸ Целан, который, пройдя через Холокост с большими личными потерями, не склонен был прощать кому бы то ни было даже малейших проступков на сей счет, заочно оправдывает Хайдеггера и его бывшие симпатии к национал-социалистическому движению, по-детски надеясь, что великий мыслитель еще произнесет свое оправдательное слово. Встреча в Тодтнауберге, куда Целан специально отправился, чтобы поговорить об этом с философом, обернулась полным провалом: Хайдеггер не счит нужным высказать столь желанные для Целана извинения и осуждения фашизма. Все ожидания и разочарования от этой встречи поэтическое выражение нашли в стихотворении Целана «Тодтнауберг» (см. [14. С. 237]).

⁹ Второе эссе, в заглавии которого обыгрывается основной витгенштейновский постулат («Что может и не может быть сказано – философия Людвиг Витгенштейна»), сюжетно и содержательно повторяет первое, но доступность излагаемых идей достигается здесь за счет драматургической конструкции радиопьесы, где помимо самого Витгенштейна действуют

Косвенным поводом для первого эссе, которое называется «Людвиг Витгенштейн: об одной главе новейшей истории философии» (1953), послужила книга научного руководителя Бахман, последнего представителя Венского кружка Виктора Крафта, на которую она хотела тем самым обратить внимание своих соотечественников. Видимо, желая воздать должное философской школе, ее воспитавшей, Бахман старается придерживаться той трактовки взглядов раннего Витгенштейна, которая была принята в сциентистски ориентированном Венском кружке, прочитавшем Трактат как программу создания единого, логически безупречного языка науки, способного объединить все частные ее языки и изрекающего эмпирические истины о мире. Однако – как будто помимо воли самой Бахман – такая наукообразная трактовка предстает в ее изображении крайне односторонней. Это видно хотя бы на примере того, что общие высказывания типа «Все люди смертны», которыми логика оперировала еще со времен Аристотеля, не имеют никакого другого смысла, кроме того, который им обеспечивают частные истины «Ханс смертен» и «Петер смертен» [17. S. 15]. Не столь комплиментарно выглядит и попытка писательницы подробно объяснить аргументацию члена Венского кружка Рудольфа Карнапа, выступившего в статье «Преодоление метафизики путем логического анализа языка» с резкой критикой хайдеггеровской манеры философствования [17. S. 17–19]¹⁰. Об отходе Бахман от неопозитивизма Венского кружка свидетельствует и ее констатация бесполезности логики: «...логика – это нужно понимать буквально и банально – ничего не изрекает. Она, говоря словами Витгенштейна, носит чисто тавтологический характер. Поэтому логика не в состоянии исследовать действительность или чему-нибудь научить» [17. S. 15–16].

Ценность такого «отрицательного» опыта заключается в том, что углубленное переосмысление Бахман собственных философских истоков побудило ее дистанцироваться от Венского кружка, четко отделив его интерпретацию от взглядов Витгенштейна¹¹. Благодаря этому для нее обрела

щими лицами выступают два анонимных собеседника и критик. См.: [16]. При написании первого эссе Бахман была знакома только с ранней теорией Витгенштейна, тогда как на момент создания второго уже прочла опубликованные незадолго до этого «Философские исследования».

¹⁰ Этот случай получил широкую огласку: взяв несколько цитат из лекций Хайдеггера «Что такое метафизика?», где рассуждение о «ничто» венчает фраза «Ничто само ничтожит» (см.: [18. С. 17–22]), Карнап подвергает логическому разбору каждое предложение, дабы показать полную несостоятельность такого рода рассуждений (см.: [19. С. 153–157]). Однако подобное разоблачение, сколь бы оно ни было логически обоснованным, не умаляет и тем более не перечеркивает весомость хайдеггеровских умопостроений. Это признавал даже Витгенштейн: «Пожалуй, я могу представить, что имеет в виду Хайдеггер под бытием и страхом. Человек имеет склонность атаковать границы языка» [20. С. 54].

¹¹ Американка Сара Леннокс, известная своими работами по гендерной теории и неоднократно обращавшаяся в этой связи к новаторскому письму Ингеборг Бахман, основываясь на изучении архивных материалов, выдвигает предположение, что отно-

смысл та сторона «Логико-философского трактата», которая почти не принималась в расчет членами Венского кружка, тогда как для самого автора составляла основную ценность его труда. В знаменитом письме своему приятелю и потенциальному издателю Людвигу фон Фиккеру Витгенштейн утверждает, что его книга состоит из двух частей – написанной и ненаписанной, и хотя последней не нашлось места в Трактате, первая создавалась исключительно ради нее (см.: [22. С. 318]). Эта загадочная ненаписанная часть представляет собой область этики, «царство свободы», выражаясь словами Канта. Правда, амбициозный проект Витгенштейна скорее оспаривает кантовское учение о нравственности: для австрийского мыслителя этика, расположенная по ту сторону мира и языка, принципиально невыразима в словах – это именно о ней «следует молчать».

Несмотря на то, что работа Витгенштейна почти сразу после публикации вызвала широкий резонанс в научных и философских кругах, мало кто придавал большое значение «ненаписанной» части этого произведения, что приводило в отчаяние (а порой и в бешенство) его автора. Бахман же удалось точно уловить основную интенцию всего витгенштейновского предприятия. Перенос акцента с повсеместно обсуждавшихся логических положений Трактата, революционность которых ставила под сомнение дальнейшее существование метафизики как осмысленного типа знания, на главную цель труда: с одной стороны, показать пределы человеческих возможностей в постижении мира, а с другой – неустранимость желания выйти за эти пределы – позволяет писательнице максимально приблизиться к пониманию замысла философа: «Стоит оговорить, что это была попытка осуществить философию молча, абсурдная, казалось бы, попытка, но единственно легитимная для него после того, как он ясно изобразил все, что может быть сказано (как требовал того от философии), все мыслимое, которое изнутри ограничивает то, что не может быть мыслимо, и тем самым указывает на невысказываемое» [17. S. 12–13].

Ранняя концепция Витгенштейна, переориентируя магистральную со времен Канта гносеологическую тенденцию философского поиска, фокусирующуюся на вопросе «Что я могу знать?», рисует необычную картину мира, используя при этом минималистические средства – логику как единственный закон, с которым необходимо считаться. Логический порядок, которого вполне достаточно, чтобы обеспечить знание о мире (не только того, что есть, но всего, что только может быть), оказывается и границей мира. Она наиболее явным образом проступает в языке (именно язык сигнализирует о переходе этой границы, когда его высказывания приобретают

шение Бахман к Венскому кружку стало меняться в 1950–1952 гг. В пользу этого, по мнению исследовательницы, говорят и два других ее эссе: «Философия сегодня» и «Венский кружок: логический позитивизм – философия как наука», датированных приблизительно этим временем, где хорошо видно, как Бахман постепенно отдаляется от венцев, превозносящих «Логико-философский трактат» исключительно как «научную философию», и пытается осмыслить амбивалентное отношение Витгенштейна к своей первой книге. См.: [21. S. 606–610].

характер бессмысленных). Отсюда редукция всего познавательного контекста к теме языка. Мир предстает в Трактате отражением языка, который, в свою очередь, является отражением мира. Их совместимость обусловлена тем, что в основе как языка, так и мира лежит единая «логическая форма»: она не поддается вербальному выражению, но одинаково определяет языковую и онтологическую структуры. Если мир состоит из фактов, то язык – из предложений, описывающих эти факты. Будучи логически изоморфным миру, язык позволяет создавать образы, соответствующие фактам в мире: он буквально моделирует ситуации, которые в нем возникают. Поэтому любая конструкция, допустимая логикой языка, является возможным фактом, а значит, изучение лингвистических связей гарантирует полноту знания о мире. (В свете такой концепции главной задачей философии становится критика языка – отслеживание логических нарушений, каковыми грешит традиционная метафизика, игнорирующая заданные логикой пределы.)

Однако даже все знание мира ничего не способно дать для постижения его смысла. Этот смысл – равно как и смысл жизни – располагается по ту сторону мира и языка, в том алогичном поле случайности, которому Витгенштейн присваивает титул «мистическое». Это породившее множество самых невероятных спекуляций понятие, выбивающееся из строгого строя «Логико-философского трактата», как раз и указывает на ту несуществующую часть работы, ради которой писался весь текст. На недосыгаемой с помощью познавательных средств территории «мистического» в завершении своего эссе о Витгенштейне акцентирует внимание и Бахман. Она очень точно улавливает, что Трактат – его написанная часть – является очерчиванием сферы того, что может быть сказано, и тем самым подводит к порогу того, о чем нельзя говорить. Прибегая к еще одной важной мысли Витгенштейна – о различении двух функций языка: высказывания и показывания («То, что *может* быть показано, не *может* быть сказано» (4.1212)), Бахман интерпретирует мистическое как то, что показывает себя в языке. Если для Витгенштейна область мистического – это область этического, которое не способен высказать ни один из нравственных императивов, Бахман все же оставляет за языком возможность донести суть моральных вопросов – не говоря, а показывая. Это, правда, провозглашается ею в качестве гипотезы и приписывается самому Витгенштейну. Зная о существовании поздней его книги, «Философских исследований», и не предполагая, что в ней может содержаться совершенно другая теория о языке, она выдвигает версии о том, как мог бы философ развить идеи своего Трактата: «Прекратил ли он свое молчание и сделал шаг к признанию – неизвестно и маловероятно. “Бог не обнаруживается в мире” (6.432) – одно из самых горьких положений *Трактата*. Но не дает ли Витгенштейн нам знать, что нравственная форма, которая, как и логическая, неизобразима, показывает себя и является реальностью? “О чем невозможно говорить, о том следует молчать”, – пишет он в конце, имея в виду как раз эту реальность, которой мы не можем, да и не вправе, создать какого-либо образа.

Или он также заключил, что мы проиграли с нашим языком, потому что он не содержит ни одного слова, от которого бы что-то зависело» [17. С. 22–23].

3

Известный британский литературовед и философ Терри Иглтон, желая объяснить, что для него лично значит Витгенштейн, выстраивает весьма любопытную иерархию: «Фреге, – пишет он, – это философ философов, Сартр – идеал интеллектуала для СМИ, а Бертран Рассел – образ мудреца для всякого лавочника... Но Витгенштейн – это философ поэтов и сочинителей, драматургов и романистов» [23. Р. 153–154]. Творчество Ингеборг Бахман может служить пробным камнем для установления того, насколько справедлива последняя характеристика. Нередко в подтверждение актуальности витгенштейновских образов в лирике Бахман привлекается одно из поздних и наиболее известных ее стихотворений «Слова» (1961). И действительно, нельзя не восхититься, как всего несколькими изящными штрихами поэту удается проблематизировать сложные взаимоотношения человека, мира и языка, для концептуализации которых Витгенштейну потребовались долгие годы.

За словом
первым
уж спешит второе,
за фразой – фраза:
мир
невыразимый
торопится в них выразить
себя.
Напрасно.

О слово, будь собой –
дай миру этому остаться
невыразимым
противоречьем речи¹².

Но уже финал этого стихотворения свидетельствует о том, что авторские размышления о сущности языка не довольствуются рамками, заданными научными подходами к философии Витгенштейна. Для Бахман все очевиднее становится, что точность слова, декларируемая специализированной логикой, вовсе не является гарантией его действенности. Напротив, попытки накрепко связать его с одним-единственным референтом, лишив тем самым многозначности, превращают его в слово неживое, неговорящее, против чего и восстает писательница:

¹² Пер. с нем. Е. Колесова. См.: [24. С. 143]; О витгенштейновских мотивах в поэтическом наследии Бахман см.: [25].

...не вздумай умереть,
но будь, как я, не добрым
и не злым,
не утешай, не плачь
и, ничего не знача,
все обозначь намеком,

а главное – не будь
грохочущей телегой
слов мертвых и пустых.

Ни слова больше, слово! [24. С. 143].

Еще более фактурно проступает незримый диалог, который ведет Бахман с Витгенштейном, в ее прозе. Один из рассказов Бахман, уже своим названием – «Всё» – сообщающий метафизический масштаб повествованию, может быть прочитан как «реплики» из этого разговора – и не только в смысле философских вопросов, адресуемых Витгенштейну, но и как вполне состоятельная попытка самой дать ответы на эти вопросы. Главный герой излагает печальную историю своего отцовства, силясь понять причины, приведшие к трагической развязке – смерти сына от несчастного случая. И виновником той патовой ситуации, в которой оказывается рассказчик, который вот-вот потеряет контакт и с единственным близким человеком – своей женой, выступает язык. Рождение сына, сопровождающееся радостным предвкушением открыть перед ним весь мир, поначалу не внушает молодому отцу никаких тревог. Но едва только он замечает в новом существе первые социальные реакции, грозящие утратой изначальной чистоты и невинности, его охватывает паника и появляется стремление оградить жизнь своего ребенка от неизбежных боли и разочарования. «...С той минуты, как у нас с ним пошли немые беседы, я растерялся и начал искать другой путь. Разве не в моей власти было, например, утаить от него названия вещей, не сказать ни слова о том, как употребляются те или иные предметы? Он был первым человеком на земле. От него все брало свое начало, и было вовсе не исключено, что благодаря ему все может пойти иначе. Не лучше ли представить ему мир в первозданном виде, без цели и смысла? Для чего мне посвящать его в причинные связи, в тайны добра и зла, в то, что действительно существует и что лишь кажется сущим? Зачем равнять его с собой, заставлять верить и знать, радоваться и страдать? То, к чему пришли мы, наш мир, – это наихудший из миров, и никто из людей еще не постиг его; но для моего сына ничего еще не было решено. Покамест не было. Но надолго ли? И вдруг я понял: все дело в языке. <...> И вопрос теперь заключался в том, сумею ли я уберечь ребенка от нашего языка – до тех пор, пока он не создаст свой новый язык и не откроет тем самым новую эру» [26. С. 436–437].

Неразрывная связь мира и языка, которую неожиданно прозревает герой рассказа, ассоциативно восходит к ранней витгенштейновской теории. Однако мысль о том, что человеку под силу через радикальное обновление языка изменить мир, – следствие, самостоятельно извлекаемое Бахман из

Трактата. У Витгенштейна граница мира, совпадающая с границей языка, есть одновременно то единственное место, которое отводится субъекту в монохроматической картине, где мир и язык – нераздельно и неслиянно – застают себя отраженными друг в друге. Роль человека в Трактате сведена к минимуму: он не творец реальности, а ее заложник. Бахман же наделяет рассказчика божественными амбициями. В своем ребенке, еще не успевшем причаститься языку, он находит точку опоры, которая позволила бы перевернуть весь мир. Это новое начало, воплощенное в сыне, связывается героем рассказа со способностью одного человека прервать череду поколений и изобрести иной язык. Символично, что отец испытывает большие трудности с, казалось бы, несложным ритуалом наречения первенца¹³. Оттягивая неизбежное именование, запуская цепную реакцию жизни в языке, он интуитивно понимает, что начало нового языка не может рядиться в одежды старого. Обезличивающее имя Пупс (Firps), которое закрепляется за мальчиком в семейном обиходе, призвано подчеркнуть невыразимость истока всякого вербального выражения.

Однако программа преобразования мира путем изобретения другого языка обречена на провал. Довольно скоро герой рассказа обнаруживает невыполнимость своего демиургического проекта: он вынужден оставаться безучастным, будучи не вправе вмешиваться в процесс рождения нового языка, и из отца, одержимого судьбой ребенка, превращается в беспомощного стороннего наблюдателя. «...Если случалось подойти к воде, я говорил себе: научи его языку воды! Мы ступали по камням, по корням деревьев. Научи его языку камней! Помоги ему пустить новые корни! Падали листья, потому что опять наступила осень. Научи его языку листьев! Но оттого, что сам я не знал ни слова из этих языков и придумать их не умел, а владел только одним-единственным языком и не мог выйти за его пределы, я молча носил мальчика вверх и вниз по тропинкам, и мы возвращались домой, где он учился строить фразы и попадался в ловушку» [26. С. 438].

Осваивая языковые клише, сын мало-помалу втягивается во вселенную привычных реалий – вместо того чтобы исполнить возложенную на него отцом торжественную миссию по спасению человечества. И главный герой теряет к нему всякий интерес: «Этот ребенок был мне теперь не нужен. Я ненавидел его за то, что он оказался слишком разумным, за то, что он напал на след» [там же. С. 440]. И только утрата заставляет рассказчика ретроспективно пережить свои отношения с сыном. Ирония судьбы заключается в том, что, хотя он ровным счетом ничего не сделал для осуществления грандиозных планов по переустройству языка, действительность того мира, от которого герой стремился защитить своего сына, в виде нелепой случайности обрушивается на него несокрушимой мощью конкретной жизненной трагедии. В открытом финале рассказа отец, страстно

¹³ На этом моменте делает акцент и немецкий теоретик культуры Ирмела фон дер Люз, хотя в своем анализе бахмановского рассказа «Всё» она в первую очередь стремится выявить библейские реминисценции. См.: [27. S. 89].

желая обрести расколовшийся мир, решается с помощью старого языка наладить отношения с женой, жизнь которой со смертью сына лишается всякого смысла. Это смирение не прочитывается как капитуляция перед диктатом языка. Он и вправду приходит к неутешительной истине, которую Ингеборг Бахман, обыгрывая архаическое изречение Анаксимандра, вкладывает в уста героини «Малины»: «Я открою вам страшную тайну. Язык – это наказание. Все вещи должны в него войти и в нем сойти на нет за свою вину и в меру своей вины» [10. С. 106]. Однако обреченный на жизнь в языке, человек не бессилен, а, напротив, инициирован на собственное словотворчество, которое только и может быть приравнено к творению мира.

И здесь дороги, которыми идет сама Бахман, снова пересекаются с путями Витгенштейна. В поздний период своей философской деятельности он переориентируется с языка как целого на частность и неповторимость языковых игр, в которых проживается и свершается мир. Для Ингеборг Бахман в такой перспективе литература превращается из писательского ремесла в форму человеческого существования – с его непредсказуемостью, богатством открывающихся возможностей, необходимостью вступать в диалог с другим. Изобретательство, присущее языку, который вовлекает в свое движение всякого субъекта говорения, является отражением совокупных жизненных практик, которые, в свою очередь, выстраиваются по траекториям лабиринтов речи. И роль писателя заключается не в том, чтобы вывести из лабиринта, а в том, чтобы сделать его зримым. Криста Вольф, пытаясь передать уникальность поэтического, а значит, и жизненного опыта Бахман, находит очень верные слова, говоря, что ее творчество, «полное раздумий, сожалений, сетований, подает нам пример точнейшей неясности, прозрачайшей многозначности. Так и не иначе, говорит оно, и в то же время – что логически невозможно – оно говорит: так. Иначе. Ты – это я, я – это он, и объяснить это невозможно. Грамматика многообразных одновременных соответствий» [28. С. 263].

Литература

1. Затонский Д.В. Австрийская литература в XX столетии. М. : Худ. лит., 1985.
2. Соколова Е.В. Творчество Ингеборг Бахман: Понятия «язык» и «молчание» : дис. ... канд. филол. наук. М., 2001. 167 с.
3. Wallner F. Philosophie der Dichtung – Dichtung der Philosophie. Wittgenstein-Rezeption bei Ingeborg Bachmann und ihre Folgen // Wittgenstein “und”: Philosophie – Literatur / Hrsg. von W. Schmidt-Dengler, M. Huber, M. Huter. Wien : Edition S, 1990. S. 147–157.
4. Ringelestejn E. van. Zwischen Trauma und Traum – Ingeborg Bachmanns Suche nach der Wirklichkeit. Zu einigen Aspekten des Wirklichkeitsbegriffes von Ingeborg Bachmann im Lichte der Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins // “Sein und Schein – Traum und Wirklichkeit”. Zur Poetik österreichischer Schriftsteller/innen im 20. Jahrhundert / Hrsg. von H. Arlt, M. Diersch. Frankfurt a. M. ; Berlin ; Bern : Lang, 1994. S. 180–189.
5. Steutzer I. “Zu einem Sprachspiel gehört eine ganze Kultur”: Wittgenstein in der Prosa von Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard. Freiburg Br. : Rombach, 2001.
6. Roth D. Logik als Schicksal – Ingeborg Bachmanns geheimer Wittgenstein Essay // Modern Austrian Literature. Vol. 43, № 1. 2010. S. 23–42.

7. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с нем. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева // Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994. Ч. 1. С. 2–73.
8. Бахман И. Реквием по Фанни Гольдман / пер. с нем. Л. Лунгиной // Повести австрийских писателей / сост. Ю. Архипов. М., 1988. С. 401–438.
9. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / пер. с нем. Ю.М. Антоновского // Сочинения : в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 5–237.
10. Бахман И. Малина / пер. с нем. С.Е. Шлапоберской. М. : Аграф, 1998.
11. Bachmann I. Die Wahrheit ist die Menschen zumutbar // Bachmann I. Werke. In 4 Bde / Hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum, Cl. Münster. Bd. 4: Essays, Reden, Vermischte Schriften, Anhang. 6. Aufl. München, Zürich : Piper, 1993. S. 275–277.
12. Bachmann I. Frankfurter Vorlesungen: Probleme zeitgenössischer Dichtung // Bachmann I. Werke. In 4 Bde / Hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum, Cl. Münster. Bd. 4: Essays, Reden, Vermischte Schriften, Anhang. 6. Aufl. München, Zürich : Piper, 1993. S. 258–259.
13. Weigel S. Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses. Wien : Paul Zsolnay Verlag, 1999.
14. Целан П. Стихотворения. Проза. Письма / под ред. М. Белорусца. М. : Ад Маргинем Пресс, 2013. 736 с.
15. Целан П. Время сердца: книга писем / пер. с нем. Т. Баскаковой, А. Белобратова. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. 416 с.
16. Bachmann I. Sagbares und Unsagbares – Die Philosophie Ludwig Wittgensteins // Bachmann I. Werke. In 4 Bde / Hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum, Cl. Münster. Bd. 4: Essays, Reden, Vermischte Schriften, Anhang. 6. Aufl. München, Zürich : Piper, 1993. S. 103–127.
17. Bachmann I. Ludwig Wittgenstein – Zu einem Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte // Bachmann I. Werke. In 4 Bde / Hrsg. von Chr. Koshel, I. von Weidenbaum, Cl. Münster. Bd. 4: Essays, Reden, Vermischte Schriften, Anhang. 6. Aufl. München, Zürich : Piper, 1993. S. 12–23.
18. Хайдеггер М. Что такое метафизика? / пер. с нем. В.В. Бибихина // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 16–27.
19. Карнап Р. Устранение метафизики посредством логического анализа языка / пер. с нем. А.В. Кезина // Философия и естествознание. Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М., 2010. С. 141–169.
20. Вайсман Ф. Витгенштейн и Венский кружок / пер. с нем. В.В. Анашвили // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / под ред. А.Ф. Грязнова. М., 1998. С. 44–68.
21. Lennox S. Bachmann und Wittgenstein // “Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges”. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann / Hrsg. von Ch. Koschel, I. von Weidenbaum. München : Piper, 1989. S. 600–621.
22. Из писем Витгенштейна к Л. Фиккеру / пер. с нем. И.А. Эннс // Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. М., 2009.
23. Eagleton T. My Wittgenstein // Common Knowledge. 1994. № 3. P. 152–157.
24. Бахман И. Что истинно. Слова // Иностранная литература. 2003. № 2. С. 131–143.
25. Wallner F. Die Grenzen der Sprache als Grenzen der Welt. Wittgensteins Bedeutung für die moderne österreichische Dichtung (demonstriert am Beispiel Ingeborg Bachmann) // Österreich in Geschichte und Literatur (mit Geographie). 1981. Heft 2. S. 73–85.
26. Бахман И. Всё / пер. с нем. С. Шлапоберской // Австрийская новелла XX века / сост. Ю. Архипова. М., 1981. С. 432–449.
27. Lühе I. von der. Abschied vom Utopia der Sprache. Ingeborg Bachmanns Erzählung “Alles” // Text + Kritik. Heft 6: Ingeborg Bachmann. 1995. S. 84–98.
28. Вольф К. Истоки одной повести: Кассандра. Франкфуртские лекции / пер. с нем. А. Карельского // Вольф К. От первого лица. М., 1991. С. 149–286.

LUDWIG WITTGENSTEIN'S IMAGE OF LANGUAGE AND INGEBOG BACHMANN'S LANGUAGE OF IMAGES

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2018. 51. 145–161. DOI: 10.17223/19986645/51/12

Oxana A. Koval, Ekaterina B. Kryukova, Russian Christian Humanitarian Academy (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: ox.koval@gmail.com / antikukuruza@mail.ru

Keywords: Ingeborg Bachmann, Ludwig Wittgenstein, literature, philosophy, language, world.

In the paper, Ingeborg Bachmann's literary heritage is considered within the context of influence by the early philosophical theory of Ludwig Wittgenstein. The special relationship between language and the world, which is postulated in Wittgenstein's *Tractatus Logico-Philosophicus*, here becomes both the subject of theoretical interest and the leading theme of literary works. The figure of Ingeborg Bachmann is symbolic: it signifies the point of intersection of philosophical searches related to the linguistic turn and language experiments in the field of fiction – the two fundamental cultural processes that mark the twentieth century. The authors use Bachmann's essay on Wittgenstein, on the one hand, and her story "Everything", on the other, to compare the speculative and literary interpretations of the part played by language in the comprehension of the world. The analysis of the first work – "Ludwig Wittgenstein: Toward a Chapter on the Most Recent History of Philosophy" – allows identifying the semantic accents of the ontological image of language, which are later expressed in the fictitious space of Bachmann's poetry and prose. The story "Everything" is chosen as the most indicative text in terms of the selected point of view. It is read as a thinking about the possibility of resistance to the dictates of language and shows the writer's attempt to develop Wittgenstein's ideas in a new key. Wittgenstein himself did not give literature a particular status and perceived it as one of the many facts in the world. Language is capable of containing all facts of the world, nevertheless it turns out to be incapable of expressing the main moral values and verbalizing the meaning of human existence. Bachmann dares to dispute Wittgenstein's ethical pessimism. Bachmann, like Wittgenstein, considers language to be an important optic of the world view, but, unlike Wittgenstein, considers literature to be an existential practice. The truth about the world is obtained here not at the cost of the need to stay within the logic that *Tractatus* prescribes, but at the cost of personal freedom in word creation. Wittgenstein recognizes this freedom too in his later work. In *Philosophical Investigations* he retreats from the categoricalness of his previous conclusions and focuses on "language games" – language fragments that represent the unity of thought, word and action. That way speculative concepts and poetic insights resonate with each other, confirming the complementarity of two different language practices – philosophy and literature.

References

1. Zaton'skiy, D.V. (1985) *Avstriyskaya literatura v XX stoletii* [Austrian literature in the twentieth century]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
2. Sokolova, E.V. (2001) *Tvorchestvo Ingeborg Bakhman. Ponyatiya "yazyk" i "molchanie"* [Creative works of Ingeborg Bachmann. The concepts "language" and "silence"]. Philology Cand. Diss. Moscow.
3. Wallner, F. (1990) Philosophie der Dichtung – Dichtung der Philosophie. Wittgenstein-Rezeption bei Ingeborg Bachmann und ihre Folgen [Philosophy of Poetry – Poetry of Philosophy. Ingeborg Bachmann's reception of Wittgenstein and its consequences]. In: Schmidt-Dengler, W. von, Huber, M. & Huter, M. (eds) *Wittgenstein "und": Philosophie – Literatur* [Wittgenstein "and": Philosophy – Literature]. Vienna: Edition S.
4. Ringlestejn, E. van. (1994) Zwischen Trauma und Traum – Ingeborg Bachmanns Suche nach der Wirklichkeit. Zu einigen Aspekten des Wirklichkeitsbegriffes von Ingeborg

Bachmann im Lichte der Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins [Between Trauma and Dream – Ingeborg Bachmann's search for reality. On some aspects of the concept of reality by Ingeborg Bachmann in the light of Ludwig Wittgenstein's philosophy of language]. In: Arlt, H. von & Diersch, M. (eds). *“Sein und Schein – Traum und Wirklichkeit”. Zur Poetik österreichischer Schriftsteller /innen im 20. Jahrhundert* [“Being and appearance – dream and reality”. On the Poetics of Austrian Writers/ in the 20th Century]. Frankfurt; Berlin; Bern: Lang.

5. Steutzer, I. (2001) *“Zu einem Sprachspiel gehört eine ganze Kultur”: Wittgenstein in der Prosa von Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard* [“A language game is a whole culture”: Wittgenstein in the prose of Ingeborg Bachmann and Thomas Bernhard]. Freiburg Br.: Rombach.

6. Roth, D. (2010) Logik als Schicksal – Ingeborg Bachmanns geheimer Wittgenstein Essay [Logic as Destiny - Ingeborg Bachmann's Secret Wittgenstein Essay]. *Modern Austrian Literature*. 43:1. pp. 23–42.

7. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Investigations]. Translated from German by M.S. Kozlova, Yu.A. Aseev. Pt. 1. Moscow: Gnozis. pp. 2–73.

8. Bachmann, I. (1988) *Rekviem po Fanni Gol'dman* [Requiem for Fanny Goldman]. Translated from German by L. Lungina. In: Arkhipov, Yu. *Povesti avstriyskikh pisateley* [Stories of Austrian writers]. Moscow: Raduga.

9. Nietzsche, F. (1996) *Sochineniya : v 2 t.* [Works: in 2 vols]. Translated from German by Yu.M. Antonovskiy. Vol. 2. Moscow: Mysl'. pp. 5–237.

10. Bakhman, I. (1998) *Málna*. Translated from German by S.E. Shlapoberskaya. Moscow: Agraf.

11. Bachmann, I. (1993) Die Wahrheit ist die Menschen zumutbar [Truth is reasonable for man]. In: Koshel, Chr. von, Weidenbaum, I. Von & Münster, Cl. (eds) *Werke. In 4 Bde* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Munich; Zurich: Piper.

12. Bachmann, I. (1993) Frankfurter Vorlesungen: Probleme zeitgenössischer Dichtung [Frankfurt Lectures: Problems of Contemporary Poetry]. In: Koshel, Chr. von, Weidenbaum, I. Von & Münster, Cl. (eds) *Werke. In 4 Bde* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Munich; Zurich: Piper.

13. Weigel, S. (1999) *Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses* [Ingeborg Bachmann. Legacy while preserving the secrecy of correspondence]. Vienna: Paul Zsolnay Verlag.

14. Tselan, P. (2013) *Stikhotvoreniya. Proza. Pis'ma* [Poems. Prose. Letters]. Translated from German. Moscow: Ad Marginem Press.

15. Tselan, P. (2016) *Vremya serdtsa: kniga pisem* [The time of the heart: a book of letters]. Translated from German by T. Baskakova, A. Belobratov. Moscow: Ad Marginem Press.

16. Bachmann, I. (1993) Sagbares und Unsagbares – Die Philosophie Ludwig Wittgensteins [Tellable and Unsayable – The Philosophy of Ludwig Wittgenstein]. In: Koshel, Chr. von, Weidenbaum, I. Von & Münster, Cl. (eds) *Werke. In 4 Bde* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Munich; Zurich: Piper.

17. Bachmann, I. (1993) Ludwig Wittgenstein – Zu einem Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte [Ludwig Wittgenstein – To a chapter of the recent history of philosophy]. In: Koshel, Chr. von, Weidenbaum, I. Von & Münster, Cl. (eds) *Werke. In 4 Bde* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Munich; Zurich: Piper.

18. Heidegger, M. (1993) *Vremya i bytie: Stat'i i vystupleniya* [Time and Being: Articles and Speeches]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow: Respublika. pp. 16–27.

19. Carnap, R. (2010) Ustranenie metafiziki posredstvom logicheskogo analiza yazyka [Elimination of metaphysics through logical analysis of the language]. Translated from German by A.V. Kezin In: Nazarova, O. (ed.) *Filosofiya i estestvoznaniye. Zhurnal “Erkenntnis”* (“Poznanie”). *Izbrannoe* [Philosophy and Natural Science. The journal

“Erkenntnis” (“Cognition”). Selected works]. Moscow: Ideya-Press, Kanon+ROOI “Reabilitatsiya”. pp. 141–169.

20. Weisman, F. (1998) Vitgenshteyn i Venskiy kruzhok [Wittgenstein and the Vienna Circle]. Translated from German by V.V. Anashvili. In: Gryaznov, A.E. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: Stanovlenie i razvitie (antologiya)* [Analytical philosophy: formation and development (anthology)]. Moscow: Dom intellektual'noy knigi, Progress-Traditsiya.

21. Lennox, S. (1989) Bachmann und Wittgenstein [Bachmann and Wittgenstein]. In: Koschel, Ch. von & Weidenbaum, I. von (eds) “*Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges*”. *Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann* [“No objective judgment - only a living one”. Texts on the work of Ingeborg Bachmann]. Munich: Piper.

22. Wittgenstein, L. (2009) Iz pisem Vitgenshteyna k L. Fikkeru [From Wittgenstein's letters to L. Ficker]. Translated from German by I.A. Enns In: Wittgenstein, L. *Dnevnik 1914–1916* [The Diaries of 1914–1916]. Moscow: Kanon+ROOI “Reabilitatsiya”.

23. Eagleton, T. (1994) My Wittgenstein. *Common Knowledge*. 3. pp. 152–157.

24. Bachmann, I. (2003) Chto istinno. Slova [What is true. Words]. Translated from German. *Inostrannaya literatura*. 2. pp. 131–143.

25. Wallner, F. (1981) Die Grenzen der Sprache als Grenzen der Welt. Wittgensteins Bedeutung für die moderne österreichische Dichtung (demonstriert am Beispiel Ingeborg Bachmann) [The limits of language as the limits of the world. Wittgenstein's significance for modern Austrian poetry (demonstrated by the example of Ingeborg Bachmann)]. *Österreich in Geschichte und Literatur (mit Geographie)*. 2. pp. 73–85.

26. Bachmann, I. (1981) Vse [Everything]. Translated from German by S. Shlapoberskaya. In: Arkhipov, Yu. *Avstriyskaya novella XX veka* [Austrian novel of the twentieth century]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

27. Lühe, I. von der. (1995) Abschied vom Utopia der Sprache. Ingeborg Bachmanns Erzählung “Alles” [Farewell to the utopia of language. Ingeborg Bachmann's story “Everything”]. *Text + Kritik*. 6. pp. 84–98.

28. Wolf, K. (1991) *Ot pervogo litsa* [From the first person]. Translated from German by A. Karel'skiy. Moscow: Progress. pp. 149–286.